



## 4

# Л. И. Брежнев и СССР в оценках западных современников

## 4.1. Лидеры стран Запада

### В. БРАНДТ

#### Воспоминания

<Фрагмент>

#### *В Кремле и в Крыму*

Как и многие не столь видные русские, Леонид Брежнев был склонен переоценивать немцев. С одной стороны, это, возможно, было связано с Марксом и Энгельсом, без которых Ленин в какой-то мере остался бы без имени. С другой стороны, — и это было важнее: ведь эти проклятые «фрицы» почти что взяли Москву, хотя они одновременно дрались с англичанами и американцами<sup>1</sup>. Докуда же они дошли бы в следующий раз, если бы у них было американское оружие? А то, что они создали после 1945 года, — это тоже не мелочь!..

Нет сомнения в том, что руководство и народ были рядом, когда речь шла о преодолении тяжелого наследия второй мировой войны. Брежнев сказал, что поворот к лучшему — непростое, нелегкое дело. Между нашими государствами и нашими народами стоит тяжелое прошлое. Двадцать миллионов человек потерял советский народ в развязанной Гитлером войне<sup>2</sup>. Это прошлое не вычеркнуть из памяти людей. Многим миллионам немцев также пришлось сложить голову в этой войне. Память об этом жива. Может ли советский народ быть уверенным в том, что внешняя политика создаст новые основы взаимоотношений?

Он сказал это во второй половине дня 12 августа 1970 года. В Екатерининском зале Кремля он стоял позади меня, когда я вместе с Алексеем Косыгиным и обоими министрами иностранных дел подписывал Московский договор. Первоначально мое присутствие вообще не предусматривалось. Министр иностранных дел Шеель

по инициативе советских партнеров по переговорам позвонил в Норвегию, где я проводил отпуск, и дал понять, что мне нужно приехать. Какая тяжелая дата<sup>3</sup>! Какой весомый договор! Я и так не мог и не хотел уклоняться от бремени, которым этот договор должен стать для многих немцев. Нельзя было объявить несостоятельными итоги гитлеровской войны, но смягчить ее последствия было необходимо как с патриотической точки зрения, так и с точки зрения европейской ответственности. Своим землякам я сказал из Москвы, что договор не угрожает ничему и никому; он должен помочь расчистить путь вперед.

На следующий день — 13 августа — я должен был произнести речь по случаю годовщины возведения берлинской стены, однако мои любезные хозяева нашли отговорку, что с технической точки зрения будет трудно передать запись моего выступления в Бонн. В полной уверенности, что меня подслушивают, я громко и отчетливо разговаривал в здании посольства, дав им таким образом понять, что, если понадобится, я затребую из Бонна самолет, который доставит пленку с записью моей речи домой. Реакция последовала немедленно. Когда мы направлялись к Кремлевской стене для возложения венка, один высокопоставленный чиновник шепнул мне: «С передачей все будет в порядке». Мне выделили какого-то сутулого министра, который не спускал с меня глаз.

Первое впечатление, которое произвел на меня во второй половине августовского дня в своем мрачноватом кремлевском кабинете Брежнев, было утомительным. Да и как могло быть иначе, если тебе в течение почти двух часов зачитывают какой-то текст? За первым чтением после моих реплик последовало второе, а отреагировать на «второе выступление» у меня почти не осталось времени, хотя в нашем распоряжении имелось четыре часа. Перед тем как пригласить меня для беседы, Генеральный секретарь неожиданно для нашей стороны явился на церемонию подписания договора. Он пришел также на коктейль, но извинился, что не сможет быть на ужине, так как недавно выписался из больницы. Пока его не начинало явно мучить ухудшившееся здоровье, коренастый Брежнев казался — если ему не нужно было читать по бумажке — здравствующим и даже непоседливым человеком. Ему доставляло огромное удовольствие слушать и рассказывать анекдоты. Он проявлял любопытство к руководителям других стран. «Вы ведь знакомы с Никсоном. Он действительно хочет мира?» Или в июне 1981 года по пути на аэродром он спросил: «Как мне расценивать Миттерана?» Однажды в Бонне появился человек, который должен был расспросить меня о Джимме Картере. Найти подход к Картеру «москвитянам» было еще труд-

нее, чем впоследствии понять Рональда Рейгана. В репертуаре Брежнева имелись маленькие, дешевые трюки: под конец нашей первой беседы в Кремле он вдруг сказал: «Надеюсь, Вам известно, что в руководстве вашей партии у Вас есть не только друзья». Однако, как ему написали на бумажке, на «Икса» (имелся в виду премьер-министр одной из земель, фамилию которого он не смог правильно произнести), добавил он, я могу положиться. Гибрид партаппарата с секретной службой подчас приносит странные плоды. Но что меня во время той первой беседы буквально удручало, это его нежелание приводить хотя бы до некоторой степени серьезные аргументы и демонстративные ссылки на Сталина...

Во-первых, Брежнев действительно считал, что я могу поверить официальной, партийно-правительственной версии, согласно которой в Советском Союзе, как ни в какой другой стране мира, 99,99 процента людей устремляются к избирательным урнам, чтобы почти поголовно проголосовать за «кандидатов блока коммунистов и беспартийных». Даже более тонкий Косыгин, которому я сказал, что чувствую поддержку явного большинства моих сограждан, без всякого смущения ответил, что в Советском Союзе 99 процентов за договор. Тут же он стал иронизировать по поводу социал-демократов, о которых, например в Скандинавии, никогда нельзя точно знать, входят ли они еще в правительство или уже снова в оппозиции.

Во-вторых, Брежнев с самого начала хотел мне разъяснить, что он не согласен с антисталинскими тезисами Хрущева. Сталин очень много сделал, говорил он, и, в конце концов, под его руководством страна выиграла войну — ему еще воздадут должное. Нет, Леонид Ильич не выдавал себя за реформатора. Но я не смог разглядеть в нем и революционера. Скорее это был консервативно настроенный управляющий огромной державы. Однако я не сомневался, что он был заинтересован в сохранении мира. Не сомневаюсь в этом и сейчас. То, что Брежнев с большим удовольствием полностью отменил бы обсуждение страдавшего манией уничтожения людей Сталина, явилось одним из отрезвляющих впечатлений, полученных мною в Кремле. Между тем первого человека Советского Союза, каковым с 1964 по 1982 год был Брежнев, превратили в какое-то почти безликое существо. Наряду с кумовством и другими слабостями характера его обвиняют в тяжких политических грехах. Именно поэтому я счел нужным объяснить Михаилу Горбачеву, почему я не желаю в том, что касается серьезности наших совместных усилий, дезавуировать Брежнева. Такие американцы, как Генри Киссинджер, в своих оценках сотрудничества с русскими в прошлом пришли к такому же выводу. В личных беседах Брежнев

не казался мне несимпатичным, хотя его избирательное восприятие действительности и связанная, очевидно, не только с этим, зависимость от шпаргалок производили немного неприятное впечатление. Но я не имел возможности выбирать себе визави или ждать Горбачева. Я и в 1970 году уже не думал, что меня примет гигант мысли или величина в смысле морали.

Официально в 1970 году я был гостем не Брежнева, а Косыгина, который как Председатель Совета Министров в тогдашней иерархии имел такой же ранг, как и Генеральный секретарь партии. Год спустя это изменилось, поскольку Генеральный секретарь стал и в вопросах внешней политики номером один. Сделав министра иностранных дел Андрея Громыко членом Политбюро, он крепче привязал его к себе. Больше говорить в Москве о договоре не имело смысла. Косыгин, этот образованный ленинградский инженер с выражением легкого разочарования на лице, который много, но не очень успешно работал, говорил о «политическом акте, которому советское руководство и весь мир придают большое значение». Я возразил, что текст, конечно, важен, но гораздо важнее то, что из него получится. Косыгин намек понял. Утром после подписания и неизбежного официального обеда он сказал: «Лучше меньше шума, а больше успехов». Я заверил, что для меня содержимое бутылки важнее, чем ее этикетка. Он дал свой вариант темы, имея в виду намечавшуюся конференцию по безопасности в Европе: «Продолжительность заседания еще не признак того, что на нем достигнут прогресс». Впрочем, война больше не является средством политики, а центральная проблема разрядки в Европе заключается в отношениях между Советским Союзом и Федеративной Республикой Германии.

В своей речи на обеде Косыгин говорил о «памятном дне» в отношениях между нашими странами. Договор «продиктован самой жизнью», он отвечает долговременным интересам мира. В ответном слове я сказал: «Мне известно, что я нахожусь в стране, у которой особое понимание истории, истории, которую никто не может отменить и никто не вправе отрицать. Так же верно и то, что ни один народ не может постоянно жить без чувства гордости: „История не должна превратиться в хомут, который будет постоянно удерживать нас в прошлом“. В некотором отношении я рассматриваю этот договор как заключительную черту и как новое начало, позволяющее обоим нашим государствам направить свои взоры вперед, в лучшее будущее. Этот договор должен освободить как вас, так и нас от тени и груза прошлого и как вам, так и нам дать шанс начать все сначала».

В тот день, 12 августа, обе договаривающиеся стороны торжественно обещали в будущем решать спорные вопросы исклю-

чительно мирными средствами. Этот отказ от применения силы включал в себя обязательство уважать неприкосновенность всех существующих в Европе границ, в том числе линии по Одере и Нейсе, и не предъявлять никаких территориальных претензий. Мы признали нерушимость границ. В этом я не видел никакого противоречия с усилиями, направленными на то, чтобы сделать границы по возможности более проницаемыми. Кстати, о вымыслах. Разве мы могли напасть на Советский Союз? Но мы вряд ли могли использовать в качестве аргумента тот факт, что в этом отношении отказ Советского Союза от применения силы был гораздо весомее, чем наш. Недвусмысленно признавалась законная сила ранее заключенных договоров и соглашений, в том числе между Федеративной Республикой и ее западными союзниками. В преамбуле содержалась ссылка на цели и принципы Организации Объединенных Наций. Цель достижения германского единства путем самоопределения не нарушалась. В специальном письме, получение которого подтвердило Советское правительство, наш министр иностранных дел констатировал, что «данный договор не противоречит политической цели Федеративной Республики Германии добиваться состояния мира в Европе, в условиях которого германский народ путем свободного самоопределения вновь достигнет своего единства». Как же мог такой видный политический деятель ХДС, как Райнер Барцель<sup>4</sup>, даже несколько лет спустя утверждать, что согласно Восточным договорам мы обязались «больше не говорить о воссоединении»? В той же связи говорилось, что я якобы отрицательно высказывался о воссоединении. Это имеет смысл только для того, кто не хотел и не хочет принимать во внимание мои доводы, направленные против обращенной в прошлое приставки «вос».

Оппозиция придавала особо большое значение тому, чтобы Московский договор не затрагивал объединения Европы. Мы это учли. Было рассмотрено ожидавшееся расширение ЕЭС и предложено проведение переговоров с СЭВ на уровне экспертов. В 1973 году в Бонне Брежнев выдвинул следующие аргументы: Советский Союз против политики блоков в экономических вопросах. Он не понимает, зачем ехать в Брюссель, если ты что-то хочешь купить в Эссене у Круппа. Это может все лишь усложнить. С другой стороны, советская сторона не закрывает глаза на существование ЕЭС. Возможно, было бы полезно поискать какие-то формы сотрудничества между ЕЭС и СЭВ. И тем не менее! К имевшим принципиальное значение итогам переговоров о заключении договора относилось то, что в области отношений между Советским Союзом и Федеративной Республикой исчезла ссылка на статью Устава ООН о враждебных государствах<sup>5</sup>.

Путь к заключению договора, если считать исходным пунктом формирование нового федерального правительства, был короток. Предварительные переговоры в Москве я поручил вести моему испытанному сотруднику Эгону Бару, ставшему статс-секретарем в ведомстве канцлера. Из-за этого посол почувствовал себя ущемленным. В остальном также существовали как доброжелатели, так и завистники, которые точно знали, каким образом все можно было сделать гораздо лучше, не попадая в цейтнот, как это якобы случилось с нами. В действительности шла борьба за каждую статью договора, оттачивалась каждая формулировка. Громыко, которого я посетил незадолго до его отставки с поста президента (он занял его в начале эры Горбачева), даже восемнадцать лет спустя мог точно вспомнить каждый из тех 55 часов, которые у него в феврале, марте и мае 1970 года заняли беседы с Баром. В своих мемуарах Андрей Громыко воздвиг мне небольшой памятник и подчеркнул большую роль, которую я «лично» сыграл при разработке договора.

В Бонне результаты переговоров Бара получили одобрение, а ведение заключительных переговоров взял на себя министр иностранных дел. Они привели к некоторым изменениям, которые должны были дополнительно защитить договор и относящиеся к нему документы как от вечно сомневающих, так и от серьезных критиков.

В нескольких километрах от аэродрома, на котором я приземлился 11 августа 1970 года с опозданием, так как перед вылетом неизвестный сообщил, что в самолете спрятана бомба (поэтому после приземления я сказал: «Мы прилетели поздно, но все же прилетели»), стоит памятник, обозначающий место, где в 1941 году немецкие танки вынуждены были повернуть назад. Однако травма от смертельной угрозы имела более глубокие корни. По пути с аэродрома в резиденцию Косыгин остановил машину на Ленинских горах и подвел меня к тому месту, с которого Наполеон бросил последний взгляд на горящую Москву. Это был еще один эпизод разбухшей истории.

С чем я был не согласен с Брежневым, так это с его воспоминаниями о дне нападения на Советский Союз в июне 1941 года. Ведь между русскими и немцами, говорил он, существовали договор и хорошие экономические отношения. Он сам видел, как к западной границе шел нагруженный пшеницей товарный поезд, когда «люфтваффе» начала бомбежку. Как секретарь Днепропетровского обкома партии он в первый же день войны получил задание остановить поезда, направлявшиеся в Германию. Об этом он хотел напомнить только для того, чтобы показать,

какие положительные чувства испытывал советский народ и как доверчиво было руководство. Газеты были полны фотографий о сотрудничестве с немцами. Он также сослался на хорошее сотрудничество с немецкими фирмами в далекие времена и в период между мировыми войнами. Немало его коллег обучались на таких фирмах, как Крупп<sup>6</sup> и Маннесманн. И вдруг такое вероломство, которое просто трудно было ожидать от такого порядочного партнера! Затем последовали фронтовые воспоминания с мелодраматическими призывами к «товарищам с той стороны». Такой способ пробуждения сентиментальных чувств не столько удивил меня, сколько испугал. Когда люди обмениваются воспоминаниями о войне, фальшь и правда находятся всегда рядом. Весной 1973 года во время ужина, который я дал в честь Брежнева в его боннской резиденции на Венусберге, Гельмут Шмидт<sup>7</sup> обрисовал двойственные чувства молодого офицера на Восточном фронте. Тогда он не мог себе представить, что после этой ужасной войны появится хоть какой-то шанс на то, что первый по статусу человек Советского Союза будет разговаривать с немцами. Брежнев ответил очень эмоциональным тостом. У принимавших меня русских точно так же накатывались слезы, когда я во время застольной речи зачитал выдержку из письма, которое один не вернувшийся с фронта немецкий солдат после нападения на Советский Союз написал своим родителям.

Весной 1973 года Брежнев подхватил формулу Никсона о том, что эра конфронтации должна перерасти в эру переговоров. Я мог исходить из этого так же, как и из того, что Генеральный секретарь в июне того же года в одной из своих речей сказал о коммунистах и социал-демократах: не затушевывая ничего принципиального, конкретно рассматривать то, что можно сделать для мира и в интересах народов.

Когда дело касалось военных элементов политики мира, Брежнев всегда выражался довольно неопределенно. Во время нашей первой беседы он, видимо вполне серьезно, заявил буквально следующее: ограничение вооружений не является «кардинальной темой». Советский Союз и он лично выступают за полное разоружение. Он даже намеком не откликнулся на сигнал из Рейкьявика, то есть на разработанные нами в рамках НАТО представления, включавшие в себя пропорциональное сокращение войск. В 1971 году в Крыму я тщетно пытался убедить его в необходимости серьезных переговоров о взаимном сокращении войск и вооружений. Причем об уравновешенном сокращении, что означало: глобальное равновесие не должно быть поставлено под вопрос. Однако Брежнев меня не понял, впрочем, так же, как

и в 1973 году в Бонне. В Москве ему наверняка никто не говорил о проблеме военного неравновесия в Европе. А также о том, что нужно различать две сферы, по которым впоследствии велись переговоры частично в Хельсинки, а частично во время их продолжения в Вене: с одной стороны, сотрудничество и укрепление доверия, а с другой — сокращение войск.

Я и позднее никогда не замечал, чтобы Брежнев, если речь заходила о конкретных вещах, мог бы потребовать от военного руководства каких-то новых идей. Особенно ясно это проявилось в вопросе о ракетном оружии. Но даже когда я однажды завел разговор о форсировании морских вооружений, меня удивила его радостная реакция: американцы нас намного опередили, «но теперь не так уже намного. Мы теперь каждую неделю „лепим“ по одной подводной лодке». При этом он делал движения руками так, как это бывает у детей при «игре в куличики». Характерным для эры Брежнева являлось то, что, несмотря на политическую разрядку, СССР продолжал усиленно вооружаться и постоянно «модернизироваться». Разумеется, НАТО в те годы тоже не становился слабее, а соответствующая американская служба вынуждена была признать, что ее оценка роста оборонного бюджета СССР наполовину преувеличена.

В своем прагматизме в военных делах Брежнев и Хрущев недалеко ушли друг от друга. Последний заявил во время кубинского кризиса: «В Советском Союзе ракеты изготавливаются, как сосиски в сосисочном автомате»<sup>8</sup>. На приеме по случаю нового, 1960 года он после обильного потребления водки сообщил «по секрету» западным послам: для Франции и Англии готово по 50 ракет, а для Федеративной Республики — 30 пронумерованных экземпляров. Но когда жена французского посла спросила, сколько ракет предназначено для США, жизнерадостный Никита ответил, что это военная тайна.

В приписываемых ему воспоминаниях изложена полемика с теми военными руководителями, которые «в речах и мемуарах пытаются обелить Сталина и вновь поставить „отца народов“ на пьедестал». Брежнев, как уже сказано, рассматривал это под другим углом зрения, но общим для них обоих являлась ужасающая идеологическая узость мышления. Кстати, после нескольких лет гласности высший генералитет заявил протест против того, что на него пытаются переложить ответственность за то, в чем он не виноват: не военное, а политическое руководство на Рождество 1979 года выступило за вторжение в Афганистан. На четвертый год правления Горбачева наконец-то стало возможным, чтобы люди, отвечающие за внешнюю и за военную политику, подвергли

критике курс, который в семидесятые и в начале восьмидесятых годов односторонне ориентировался на военное равновесие сил и пропагандистские успехи.

К вопросу о связях Федеративной Республики с Западом кремлевский руководитель подходил с реалистических позиций. Никто не собирается, говорил он, отделять нас от союзников, так же как и нет планов, чтобы наши будущие отношения с Советским Союзом развивались за счет отношений с другими странами. Брежнев заявлял это столь радостным тоном, что это могло бы внушить недоверие, если бы я и так его не испытывал: «У нас не было и нет никаких коварных замыслов, и я думаю, что это является важным фактором». Косыгин также подчеркивал, что никто не собирается посредством договора изолировать нас от наших западных союзников: «У нас нет подобных намерений, да они тоже были бы нереалистичны». Против этого нельзя было возразить.

Если абстрагироваться от некоторых мелочей, в Москве в августе 1970 года речь шла о переходе к новому отрезку европейской послевоенной истории. В то же время мне представилась возможность поставить стрелки на путь к урегулированию некоторых практических вопросов. Это в первую очередь относилось к Берлину. Я сообщил, что мы лишь тогда ратифицируем Московский договор, когда четыре державы завершат свои переговоры по Берлину с положительным результатом. Если мы хотим разрядки, Берлин не должен оставаться очагом «холодной войны». Он не должен больше оставаться яблоком раздора, а ему следует придать определенные функции в рамках мирного сотрудничества. Брежнева эта взаимообусловленность раздражала. Не означает ли моя позиция, что США будет предоставлено право вето? Действительно, многое осталось открытым, но возможность использовать берлинский вопрос в качестве рычага для создания помех была ограничена, хотя, к сожалению, и не устранена. Уже в конце октября 1970 года Громыко во время встречи с Шеелем<sup>9</sup> дал с некоторыми оговорками понять, что с нашей берлинской взаимообусловленностью жить можно. Они встретились в Таунусе накануне выборов в ландтаг земли Гессен.

С другой стороны, мы имели в виду проблему прав человека, которую мы, дабы придать ей более безобидный характер, обозначили как «гуманитарные вопросы». Речь шла о репатриации из Советского Союза людей, являвшихся к началу войны германскими гражданами, а также о конкретных случаях воссоединения семей. Косыгин сказал, что об этом и впредь должны заботиться оба общества Красного Креста, хотя до сих пор они добились весьма скромных успехов. Я смог оказать им кое-какую помощь, в том

числе и после того как отошел от правительственных дел. После 1970 года многие лица немецкого происхождения смогли переселиться в ФРГ, а в конце концов даже вновь наметилось улучшение условий жизни и культурного развития для советских граждан немецкой национальности. Не хвалясь, я все же должен сказать, что за эти годы я в целом ряде случаев принимал участие в судьбе так называемых диссидентов. Результаты моих ходатайств были скромными; в нескольких случаях представители интеллигенции уехали за границу, хотя они с большей охотой остались бы на родине, в других — им были созданы лучшие условия жизни в самой стране.

В-третьих, речь, конечно, шла и об экономических интересах. Я прежде всего хотел выяснить у русских, не собираются ли они в дополнение ко всем тяжелым последствиям войны потребовать от нас еще и выплаты репараций? Для ответа Брежневу нужно было время. На следующий год в Крыму он мне коротко сообщил: этот вопрос в Советском Союзе не стоит. Толковые комментаторы могли бы проследить в этом единственную в какой-то мере существенную параллель с Рапалло.

Брежнев и Косыгин говорили о «больших и даже огромных перспективах» в области экономики, науки и техники; прежде всего нам расхваливали сотрудничество в области добычи полезных ископаемых Сибири. Это всегда было и остается постоянной темой германо-советских переговоров. Я перелистал старые подшивки и установил, что еще в 1922 году Карл Радек, большевистский эксперт по Германии польского происхождения, погибший в одном из сталинских лагерей<sup>10</sup>, сказал заведующему восточным отделом германского министерства иностранных дел: «Германия может извлечь выгоду из использования русских сырьевых запасов. Немецкая работа найдет теперь в России поддержку».

В последующие годы строительство воздушных замков продолжалось. Косыгин не был склонен к преувеличениям: «Ни мы, ни вы не являемся благотворительными организациями, сотрудничество должно приносить пользу обеим сторонам». Ему тоже было известно, что заинтересованные в сотрудничестве немецкие фирмы откровенно жалуются на неповоротливость и частую пробуксовку советских органов управления народным хозяйством. Тем не менее торговля с Советским Союзом после этого по сравнению с исходным уровнем развивалась вполне успешно.

Для возглавляемого мной правительства Московский договор имел принципиальное и жизненно важное значение. Не только для нас в Бонне, но и с точки зрения европейской политики представлялось очень важным, что из заявлений мировой державы,

так же как и из политзанятий в Советских Вооруженных Силах, исчез призрак германской угрозы, а тем самым из «межкоммунистической колоды» была изъята антигерманская карта.

В середине сентября 1970 года я заявил в бундестаге: «Федеральное правительство убеждено, что настало время заново обосновать и в пределах возможного нормализовать наши отношения с Советским Союзом и с Восточной Европой. Заключая данный договор, федеральное правительство придерживалось того, что оно отразило в своем правительственном заявлении». Этим договором мы никому ничего не дарим. Он исходит из существующего реального положения вещей. Им устанавливается неприкосновенность границ и мирное урегулирование всех имеющихся вопросов. «Главное в этом договоре то, что он служит миру и обращен в будущее. Он создает предпосылки для лучшего сотрудничества с Советским Союзом и с нашими прямыми восточными соседями. Он не отделяет нас от наших союзников по НАТО и не мешает прогрессирующему единению Западной Европы. Он должен пойти на пользу Берлину. И, в конце концов, он оставляет свободным путь к достижению в Европе такого состояния мира, при котором и германские вопросы могут найти справедливое и прочное решение на основе права на самоопределение».

На следующий, 1971 год во время летних каникул я получил запрос: не хотел бы я в середине сентября посетить в течение нескольких дней Брежнева в Крыму — без «протокола» и без «делегации». Советский руководитель отнесся к отказу от протокола настолько серьезно, что, когда я 16 сентября во второй половине дня приземлился в Симферополе, он стоял на летном поле в полном одиночестве. Я прилетел на самолете военно-воздушных сил ФРГ. Это также было новшеством. Об экипаже позаботились самым наилучшим образом, что отнюдь не было само собой разумеющимся.

В здании аэропорта был устроен прием. Он очень затянулся. Казалось, что наш запас анекдотов никогда не иссякнет. В соответствии с этим и атмосфера была непринужденной. Если по программе предусматривалось испытать меня в буквальном смысле слова на выносливость, то этот экзамен я выдержал. Теперь Брежнев совершенно однозначно был первым лицом и находился в лучшей форме, чем за год до этого, когда мне довелось его увидеть в Москве, а затем в 1973 году в Бонне.

Как у чванливого, так и у официального Бонна, действующие лица которого дополняли друг друга и были тесно переплетены между собой, возникло ощущение, что им брошен серьезный вызов: может быть, происходящее в Крыму не имеет ничего общего с правительственными делами, а является «всего лишь» встречей

руководителей партии? «Не секретная ли это встреча?» — вопрошал Франц Йозеф Штраус. Титул советского Генерального секретаря и его ранг по протоколу причиняли и в дальнейшем немало хлопот. Хотя в Париже его принимали со всеми почестями, полагающимися главе государства, ответственные за прием высоких гостей боннские бюрократы были против того, чтобы при его встрече производился обязательный в таких случаях артиллерийский салют. А у меня не было никакого желания с ними связываться.

Что же собой представляла Ореанда, где в распоряжении советского руководителя имелась летняя резиденция, в которой он принимал гостей из дальних и ближних стран? Не находилась ли она поблизости от той Ялты (а может быть, даже была ее предместьем?), где в начале 1945 года Сталин вместе с Рузвельтом и Черчиллем принял решения, воспринятые так, будто там раз и навсегда был утвержден раскол Европы, что соответствует не столь уж необычному историческому ракурсу? Впрочем, что касается мест, связанных с тяжкими событиями, то куда бы мы могли податься в Германии после 1945 года, если бы хотели, чтобы другие — да и мы сами — избежали крайне неприятных воспоминаний?

Поднимались и другие, второстепенные вопросы. Почему для Ореанды не было предусмотрено «официальное» сопровождение прессы? То, что многочисленные журналисты и фотокорреспонденты без всяких затруднений попали на место событий, почти не смягчило критику. Затем фотографии запечатали меня не только во время лодочной прогулки по Черному морю в спортивном костюме — без галстука, но и тот момент, когда я вместе с Брежневым вхожу в воду, чтобы поплавать. Не было ли это в высшей степени безответственным?

А была ли у меня там возможность воспользоваться советами компетентных людей из министерства иностранных дел? Ну кроме Эгона Бара, статс-секретаря ведомства канцлера, меня сопровождал сведущий сотрудник министерства иностранных дел, впоследствии дважды работавший послом в Москве. Само собой разумеется, что при мне находился переводчик. Он делал соответствующие записи.

По возвращении я сообщил представителям оппозиции, хотя это был всего лишь второстепенный момент, о следующем: Брежнев спросил меня о коммунистах в ФРГ, и я подтвердил, что они действуют легально. Это вызвало огромное возбуждение. Советский руководитель проявил любознательность по поводу того, каким образом действует «партия господина Бахмана». Он имел в виду ГКП, которая возникла в 1968 году по формальному совету министра юстиции Хайнеманна. Федеральный конституционный

суд в 1956 году по представлению федерального правительства запретил старую КПП.

Казалось, что Брежнев хочет уйти от надоевшей ему темы. А ведь за год до этого во время моего визита в Москву нам настойчиво приводили такие аргументы: «У вас свободно развиваются силы реваншизма, — говорил Косыгин, — в то время как коммунистов загоняют в подполье». В Ореанде я лишь подтвердил, что ГКП действует активно и легально. По отношению ко мне она ведет себя далеко не дружелюбно, но другого я и не жду и всегда возражаю тем, кто добивается нового ее запрета. Из этого сделали вывод, будто бы я выразил свою благосклонность по отношению к коммунистической партии. Герхард Шрёдер, мой предшественник на посту министра иностранных дел, летом 1988 года заявил, что ему якобы известно, что во время той сомнительной лодочной прогулки я подтвердил в разговоре с Брежневым «конституционный характер» РКП. Это было неверно в отношении как места, так и существа вопроса. Также неверен был и вывод, что «с тех пор у нас есть ГКП».

Более серьезной, чем мелкотравчатая полемика в собственной стране, была буря в стакане парижской воды. Во французской столице нашлись люди, пытавшиеся внушить президенту Помпиду, что перед визитом Брежнева во Францию я «втиснулся» в его календарный план и, возможно, заключил с ним тайные договоренности. Конечно, это можно было легко опровергнуть, но, тем не менее, это напомнило о том, что каждый раз, когда Германия и Россия обсуждают общие вопросы, Франция следит за этим со скрытым подозрением. Впрочем, я не видел ничего плохого в том, что советский руководитель, когда речь идет о Европе, интересуется и мнением немцев. Развитие в Европе, говорил Брежнев, будет в значительной мере зависеть от того, как будут складываться отношения между Советским Союзом и Федеративной Республикой, с одной стороны, и с Францией, с другой стороны. Это было не так уж неверно.

Помпиду, принимавший Брежнева в начале декабря 1971 года в Париже, вряд ли возражал, услышав от своего гостя, что тот больше доверяет федеральному канцлеру, чем Германии. Мог ли я отвечать за то, что в Париже, как и в Москве и в других местах, все еще проводилось такое различие?

В Ореанде мы не раз часами беседовали друг с другом. Прежде всего о двусторонних отношениях и возможности общеевропейского сотрудничества, а также о Китае. Эту тему предложил я, но ее обсуждение оказалось бесплодным. Большое место, естественно, занимали советско-американские отношения и германский вопрос. На меня произвело впечатление то, как Брежнев после оживлен-

ных часов в зале для гостей в аэропорту, когда мы поехали вниз, к Крымскому побережью, затронул германский вопрос и тут же исключил его из дискуссии. Как только машина тронулась, он положил мне руку на колено и сказал: «В том, что касается Германии, Вилли Брандт, я Вас хорошо понимаю. Но ответственность за это несем не мы, а Гитлер». А может быть, он даже сказал, что теперь мы ничего не можем изменить?

«Строго между нами», он хотел бы знать, будет ли действительно ратифицирован Московский договор. Неудача может отбросить нас на целые десятилетия. Не осталось незамеченным то, что я открыто говорил о слабом и хрупком большинстве моей коалиции, добавив к этому: «Я связал судьбу моего правительства с политикой договоров, и так оно и будет».

Казалось, что Брежнев старается избежать берлинской темы. Он не понимал, да и не хотел понять, что мы были начеку, чтобы не допустить еще большего отделения Берлина от Федерации, чем это предусматривалось выторгованным между державами-победительницами особым статусом. За две недели до этого, 3 сентября 1971 года, было подписано новое четырехстороннее соглашение. Его немецкий перевод — западная или восточная редакция? — доставил нам немало неприятностей. Сначала Брежнев об этом ничего не хотел слышать, однако потом он поблагодарил меня за разъяснения, добавив, что эта благодарность его ни к чему не обязывает.

После Ореанды мои противники пытались мне приписать, что я вел с Генеральным секретарем переговоры о достижении единства Германии ценой ее нейтрализации. Это не соответствовало действительности, да и было бы нереально. В бундестаге я снова и снова объяснял, что прогресс на пути к германскому единству возможен лишь по мере общего и кардинального улучшения отношений между Востоком и Западом. После моей отставки в 1974 году мои эксцентричные противники даже распространили слух, что они привлекут меня к ответственности по обвинению в измене родине, если я «буду высываться». Основание: я говорил с Брежневым о статусе безопасности для Германии, отличающемся от статуса НАТО.

Визит Брежнева в Бонн в мае 1973 года носил изнурительный характер. Русский был в плохой форме. Он производил впечатление утомленного и рассеянного человека. Создавалось впечатление, что он плохо себя чувствовал в совершенно незнакомой обстановке. Но дело было не только в этом. Ибо мы оба чувствовали, что американо-советские отношения снова ухудшились. За год до этого Никсон подписал в Москве Заявление о принципах взаимоотношений между обеими державами. По существу, это означало признание Советского Союза в качестве равноправной

мировой державы. Но оказалось, что надежды президента и его госсекретаря, считавших возможным не допустить русских в страны «третьего мира», являются иллюзией.

Когда Брежнев находился в Бонне, наша политика договоров явно преуспевала: только что бундестаг одобрил договор об основах отношений с ГДР, за него проголосовали даже некоторые депутаты от оппозиции. Решение о вступлении в Организацию Объединенных Наций было принято еще более внушительным большинством голосов — примерно половина оппозиции высказалась «за». Произошел значительный подъем в торговле с Востоком. Мы подписали Договор о развитии экономического, промышленного и технического сотрудничества сроком на 10 лет. Брежнев затянул старую песню, слова которой я уже знал наизусть: не хотим ли мы участвовать в освоении огромных природных запасов Советского Союза, и прежде всего Сибири? Там нас ожидают не только природный газ и уголь, но и важные руды, а таких богатых запасов леса нет нигде в мире. Конечно, говорил Брежнев, у нас различные системы: «У нас можно приказывать, у вас это иначе. Но, несмотря на это, если руководители дадут соответствующие импульсы, то и деловые люди начнут мыслить другими категориями. Я со своими людьми готов к более дерзким перспективам».

Я еще дважды встречался и вел подробные беседы с Брежневым в Советском Союзе — в 1975 и 1981 годах, а также во время его визита в Федеративную Республику в 1978 году. Летом 1975 года я побывал не только в Москве и Ленинграде, но и в Новосибирске и Узбекистане. Сотрудники Генерального секретаря приложили немало усилий, чтобы я согласился приехать еще раньше. Они придавали большое значение тому, чтобы я услышал от их шефа, что он не имел абсолютно никакого отношения к шпиону, из-за которого мне пришлось уйти в отставку<sup>11</sup>.

